

ИЗ КНИГИ "ОТЩЕПЕНКА" (2008)

Взвалю на чашу левую весов
весь хлам впустую прожитых часов,
обломки от разбитого корыта,
весь кислород, до смерти перекрытый,
все двери, что закрыты на засов,

вселенское засилье дураков,
следы в душе от грязных сапогов,
предательства друзей моих заветных,
и липкий дёготь клеветы газетной,
и верность неотступную врагов.

А на другую чашу? Лишь слегка
ее коснётся тёплая щека,
к которой прижимаюсь еженощно,
и так она к земле потянет мощно,
что первая взлетит под облака.

Я себя отстою, отстою
у сегодняшней рыночной своры.
Если надо – всю ночь простою
под небесным всевидящим взором.

У беды на краю, на краю...
О душа моя, песня, касатка!
Я её отстою, отстою
от осевшего за день осадка.

В шалашовом родимом раю
у болезней, у смерти – послушай,
я тебя отстою! Отстою
эту сердца бессонную службу.

Здесь был пустырь, раздолбанный забор,
руины недостроенного дома...
Все изменилось с некоторых пор
и сделалось чужим и незнакомым.

Снесен домишек обветшалый ряд.
Асфальтом утрамбованы канавы.
Где фонари освещивали слабо –
витрины жизнерадостно горят.

Но чужд мне этот облик городской
безликостью коммерческого века.
Никто уже не скажет здесь с тоской:
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека».

Как у Толстой в рассказе «Чистый лист»,
тоска была удалена, убита,
взамен оставив бодрого дебила,
что перед жизнью праведен и чист.

Простим «тоску, поэзию и мрак»,
ведь это лучше, чем пустые души.
Мне жалко прах, развеянный в ветрах,
и звезды, отражавшиеся в луже.

Ангел, маленькая фея,
сладкий облик неземной.
Крылья, нежно розовея,
распушились за спиной.

Держит в пальчиках прелестных
приоткрытые листы
и над мудростью небесной
взор задумчивый застыл.

Этот дар мне душу греет,
но порою – как игла:
ангел, дева в эмпиреях,
я такую же была.

По мечте своей тоскуя,
кто-то пестовал, растил.
Бог задумал вот такую,
только недоовплотил.

Ангел, светоч мой, хранитель,
глиняное божество,
мой судья и обвинитель
в эту ночь под Рождество.

Мне под этим ясным взглядом
внятен путь своих потерь.
Что тебе, мой ангел, надо
от такой, как я теперь?

Ради словечка ворочать руду –
экая малость!
Жизнь застоялась, как воды в пруду.
Не состоялась.

Вскоре подскажет – когда через край, –
сердце-анатом, –
что обернулся придуманный рай
истинным адом.

Выглянет месяц из ночи слепой,
вытянув рот свой,
словно спасая от счётов с собой
и от сиротства.

На деревьях осенний румянец.
(Даже гибель красна на миру).
Мимо бомжей, собачников, пьяниц
я привычно иду поутру.

Мимо бара «Усталая лошадь»,
как аллеи ведёт колея,
и привычная мысль меня гложет:
эта лошадь усталая – я.

Я иду наудачу, без цели,
натываясь на ямы и пни,
мимо рощ, что уже отгорели,
как далёкие юные дни,

мимо кружек, где плещется зелье,
что, смеясь, распивает братва,
мимо славы, удачи, везенья,
мимо жизни, любви и родства.

Так когда-то брели пилигримы
по земле... До сегодняшних дней
со времен допотопного Рима
мало что изменилось на ней.

Ничего в этом мире не знача
и маяча на дольном пути,
я не знаю, как можно иначе
по земле и по жизни идти.

То спускаясь в душевные шахты,
то взмывая до самых верхов,
различая в тумане ландшафты
и небесные звуки стихов.

Я иду сквозь угасшее лето,
а навстречу – по душу мою –
две старухи: вручают буклеты
с обещанием жизни в раю.

*Запиши на всякий случай
телефонный номер Блока:
шесть – двенадцать – два нуля.*

А.Кушнер

Что-то вспомнилось между бедами,
с неба хлещущими плетьюми,
как Рубцов выпивал с портретами
как с единственными людьми.

К Блоку ночью врывалась в логово
Караваева-Кузьмина...
Богу – Богово, Блоку – Блоково,
нам – портреты их, письмена.

Если справиться сил нет с осенью
и не впрок нам судьбы урок,
если предали или бросили –
есть заветные шифры строк.

На странице ли, на кассетнике, –
оживляя мирскую глушь, –
собутыльники – собеседники –
соглядатаи наших душ.

Если слёз уже нету, сна ли нет,
покачнется ль в бреду земля –
повторяю как заклинание:
шесть, двенадцать и два нуля.

Ходасевич

Жалел мышей, кормил их пирогом,
что ей казалось глупым и нелепым.
Берберова была совсем другой.
Из той породы, что «единым хлебом».

Что их свело? Какая белена?
В каком весны неистовом угаре?
Цветущая и статная она.
Он – тощий и морщинистый очкарик.

Контрастность даже издали видна.
Вода и камень, словом, лёд и пламя...
Сухая, прагматичная она.
Он – с комплексами, фобиями, снами,

боящийся обиды, нищеты,
грозы, пожара, толп, землетрясений...
Она, устав от вечной маеты,
уходит от него без угрызений.

Все, что мешало двигаться вперед,
что не давало жить не вполне, не
тоску, смятение, всё, что душу рвёт,
она без колебаний отсекала.

Но всё ж не ей, живущей по уму,
презрительно взирающей на слизней,
но хилому, хандрящему ему
открыт был потаённый смысл жизни.

Тот смутный опыт, дар небесных сил,
неведомый её душевной лени,
что нас обогатил и утолил
сердечный голод многих поколений.

Она ещё полвека проживёт,
найдёт свою писательскую нишу,
но только тем в историю войдет,
что жизнь его никчемную опишет.

Нездешний, нежный, невесомый,
о снег, живое существо!
Любви безоблачной, бессонной
искрящееся вещество.

Души снежинки – поцелуи...
Как чуден призрачный полёт.
Воспеть то, что не существует
и тем не менее живёт.

И шепчет голос без названья:
«Всё образуется, Бог даст...»
О, этот дух существованья!
Он никогда нас не предаст.

Средь облетевшего и голого,
заиндепевшего едва,
природа поднимает голову
и шепчет: «Я ещё жива!»

Жива – назло унылым мистикам,
пугавшим полночью часам,
покуда хоть единым листиком
ещё стремится к небесам.

И я, над рощей сиротливою
следя полет нездешних сил,
учусь у ней, как быть счастливою,
когда на это нету сил.

Шпаликовский мальчик в клетчатой рубашке
смотрит с фотоснимка с робостью в глазах.
Это век минувший. Это день вчерашний.
Это брат мой Лёва, что на небесах.

Жизнь твоя, как поезд, в ночь прогромычала.
В небе рожи корчит чёрная дыра.
Как тебя любила, по тебе вздыхала
Людка-балерина с нашего двора.

Помню, упоённо в сотый раз твердила
и пыталась в лицах передать тот день:
«Так он поднял руку. Отстранил бандитов.
И сказал: «Попробуй кто её задень!»

Людка – фантазёрка, влюбчивая очень.
В подвиги ковбоя верилось с трудом.
Брат был книжный мальчик, маменькин сыночек.
Мне так часто снится тот наш двор и дом.

Помню, как катал ты маленькой на санках.
Вслед тебе кричала: «Эй, ещё быстрее!»
Разлетались крылья старенькой ушанки,
и бежал навстречу ты судьбе своей.

Очумелым роем скачущие мысли.
Календарный листик, скомканный в пыли.
Ни твой Мартин Иден с его волей к жизни,
ни семья, ни Людка не уберегли.

Ты не вынес битвы с жизнью в рукопашной.
Кровью чуть запачкан лоб был и висок.
Шпаликовский мальчик в клетчатой рубашке,
что железный поезд надвое рассёк.

Было очень страшно. Словно понарошку.
Непосильно горе детскому уму.

Мне тогда казалось, что еще немножко —
я пойму всё это. Я вот-вот пойму.

До сих пор не верю и не понимаю.
Не могу спокойно видеть поезда.
Шестьдесят девятый. День тридцатый мая.
В этот день я взрослой стала навсегда.

Век кончится. Но раньше кончусь я.

И.Бродский

Семь дней ты прожил в новом веке,
едва перешагнув черту,
и, растворясь в январском снеге,
ушёл навеки в темноту.

Ты сердцу нужен дозарезу,
но неуклонен ход планет.
Я проверяла: путь отрезан.
Проходов и лазеек нет.

Пусть хлещет ветер, завывая,
и снег хрустит в зубах, как соль.
Боли во мне, пока живая,
пока умею слышать боль.

А лики облаков — как лица...
Что им могильная доска?
Ты кончился. А нежность длится.
И не кончается тоска.

Июль сменился декабрём
внезапно как-то, незаметно.
И обернулось снегирем —
что было яблоком на ветке.

И холодом объяло дом,
как снег на голову обруша.
И реку оковало льдом,
убив её живую душу.

Как командорские шаги
и следом крик: «О, донна Анна!»
Лишь только свет, и вдруг – ни зги.
Зима всегда, как смерть, неожиданна.

Разучилась жить за эту ночь.
За окном деревья поседели.
Как мне эту горечь превозмочь?
Есть ты или нет на самом деле?

Слёз уж нет. Всё уже ближний круг.
Жизнь всё поворачивает мудро.
Светлая любовь стоит вокруг,
как в снегу проснувшееся утро.

Ты – небо. Смотришь немо.
Мне – речкою бежать,
в чертах своих несмело
твой облик отражать.

Вот записная книжка,
а в ней – твоя строка.
Вот старое пальтишко,
а в нём – твоя рука.

Не скроет это камень.
Не может это сгнить.
Я знаю, что меж нами
не прерывалась нить.

Я верю, что из Леты
ты не испьёшь глотка
и что живёшь во мне ты,
как в речке – облака.

Открыло утро полог голубой.
А у меня теперь одно мерило:
пространство улыбнулось мне тобой,
окликнуло тобой, заговорило.

Ты где-то там, в лазоревом краю,
но время ничего еще не стёрло.
Дома сжимают улицу твою
и мне до боли стискивают горло.

Так жадно рыщет памяти радар,
что, кажется, протянешь руку – вот ты...
В шкафу хранится твой предсмертный дар –
последняя – о Чехове – работа.

Как долго то, чем жив был и храним,
моей души ослепшей не касалось.
«О, как ничтожно было то, что им
любить мешало...» – То о нас писалось!

Упрямо, в ту же реку, сквозь года
к тебе стремиться снами и стихами...
О, если б знать тогда, что навсегда
твои шаги по лестнице стихали.

Нет, ты не умер, просто сединой
со снегом слился, снежной пеленой
укрылся или дождевой завесой.
Мне снился дождь и где-то в вышине
незримое, но явственное мне
объятие, зависшее над бездной.

Оно, что не случилось наяву,
как радуга над пропастью во рву,
свеченье излучало голубое.
Был внятн звук иного бытия.
Нас не было в реальности, но я
всей кожей ощущала: мы с тобою.

Ты мне свечой горишь на алтаре,
полоскою горячей на заре,
когда весь мир еще в тумане мгlistом.
Однажды рак засвищет на горе,
и ты, в слезах дождя, как в серебре,
мне явишься в четверг, который чистый.

Мой бедный обломанный кустик!
(Соседи – вандалы, подонки).
Стоит он, поникший от грусти,
и прутики хрупки и тонки.

Ножовкою срезаны ветки.
Обрубки торчат из-под снега.
Убиты души моей клетки,
я тоже как будто калека.

Когда проходила я мимо –
смотрела с надеждой и болью,
как рос он неостановимо,
не свыкшись с навязанной ролью.

Как он зеленел и пушистел
из самых последних силёнок,
и радовал вылезший листик,
как зубиком первым ребёнок.

Я знала, что кустик надо –
души моей, памяти, сердца,
руки моей, тёплого взгляда,
которым он мог бы согреться.

Но срублены ветки под корень.
Был голос надежды обманчив.
И, чтобы облегчить мне горе,
расцвёл под кустом одуванчик.

Наивен, как солнышко жарок,
улыбкой светивший из ямы,
он был как последний подарок
из рук моей умершей мамы.

Родимая в новом обличье
опять поднялась над судьбою,
в окно меня ласково клича:
«Я здесь, – шелестя, – я с тобою».

Постоянно знаки получаю
от любимых из-за облаков.
Веткой под окном моим качая,
птицей, залетевшей на балкон,

музыкой, звучащей ниоткуда,
в снах ли получу благую весть, —
всё мне возвещает это чудо,
то, что вы ещё на свете есть.

Вы как воздух, что не замечала,
а теперь глотаю и ловлю.
Я без вас совсем бы одичала,
но спасает то, что я люблю.

Я ищу, что мне дороже хлеба,
в тёплой вороша ещё золе,
что меня так властно манит в небо
и так крепко держит на земле.

Чужое лицо телефона.
Уже никогда, до конца —
ни маминым ласковым тоном,
ни голосом мягким отца

вовек не откликнется трубка.
И я не люблю её брать.
Как нежно, мучительно хрупко —
что обречено умирать,

и как нестерпимо любимо...
Чужие звучат голоса.
Слова их проносятся мимо.
Зловеще глядят небеса.

Вас нет в телефоне и в окнах
когда-то любимых квартир.
И лишь в фотографиях блёклых
ещё сохранился ваш мир,

в домашних и милых вещицах,
таящих тепло ваших рук,
в надгробьях, где жизнь моя тщится
любовь уберечь от разлук.

Я слышу их шорох и запах.
Повсюду их вижу следы.
Живут мои мама и папа.
Зовут меня из темноты.

И падают слёзы, как комья,
но не пробивают броню.
Я занята делом. Я помню.
Я память о близких храню.

Нереальное утро. Туманный мираж.
Дождь стоит за окном, как невидимый страж.

Заунывный поток, бесконечный мотив
переходит из шёпота в речитатив.

Словно нервы, натянуты струны дождя.
Я устала разгадывать знаки Вождя.

Что мне делать в заплаканном этом краю?
Для чего сберегаешь Ты душу мою?

Вдруг блеснуло, как золотом кто-то прошил,
и, казалось, поддался неведомый шифр.

Мне сказали любимые этим дождём:
«Не волнуйся, мы ждём тебя. Мы подождём».

Я не верю в лучезарный рай,
знаю я, что жизни нет загробной.
Что ж меня так тянет в этот край,
где кресты, цветы, вороний гай –
всё кричит о связи нашей кровной.

Памяти не одолеть беде.
Протираю лица на могилах,

надписи на мраморной плите...
Я хочу, чтоб вечно жили те,
кого я без памяти любила.

День в деревьях и в птицах над ними,
солнце щурится через листву.
Может, всё это боль мою снимет,
причастив к мировому родству.

А когда уж особенно метко
рок оставит следы кулаков –
мне протянет акация ветку,
как соломинку из облаков.

Луна или жизнь на ущербе?
О, только себе не соврать.
И месяц, как маленький цербер,
мою караулит тетрадь.

Охота поплакаться Музе,
но тщетно молю я: «Сезам...»
Мы жаждем не истин – иллюзий,
что нас вознесут к небесам.

Но корчится в муках Россия,
но где-то стучат топоры...
Поэзии анестезия
спасает меня до поры.

Вспугнув мою печаль бумажную,
взметнется полчище воронье
предвестием, что что-то важное
мы потеряем, провороним.

Боюсь вороньего пророчества,
как ожиданья Божьей кары,
боюсь разлуки, одиночества,
утраты певческого дара.

Кружа над скверами и парками,
в душе рождая страх пещерный,
опять вороны мне накаркали
судьбы моей конец плачевный.

О фраза-смерть: «Ничто не предвещало...»
Не помню вещей снов того ночлега,
и утро только радость обещало,
когда мой брат на рельсы лег с разбега.

Мне не был виден позже ужас дальний,
когда смеялись с мамой, пив текилу,
за день до той простуды тривиальной,
что вскорости сведёт её в могилу.

Отец по телефону скажет мельком, –
беспечен будет тон его, обыден, –
что он в больницу ляжет на недельку,
и из нее вовек уже не выйдет.

С тех пор боюсь лица благополучья.
Мне страшен вид безоблачного неба.
Весенний луч предчувствием измучит.
Чревата бурей благостная нега.

Когда сгустились тучи над тобою –
ты защищен, вооружён, ты в стане.
Коварно безмятежье голубое,
когда гроза врасплох тебя застанет.

Удары грома – как удары в спину,
при этом утро ясно и слащаво.
И примешь ты смертельную дробину,
когда ничто её не предвещало.

Тюльпаны осыпались. Розы опали.
Сирень распустилась зато.
Вся комната – в пышной цветочной оправе.
Как жаль, что не видит никто.

Душа – решето от бессчётных ударов,
весь мир – словно цирк шапито,
жизнь – глупая шутка и прожита даром...
Сирень распустилась зато.

Свет с улицы застыл, всевышнюю мастью
покрыла все беды она.
В сирени застенчиво прячется счастье.
Надежда в квадрате окна.

Если беды истово
хлынут, ослепя –
ухожу не из дому –
ухожу в себя.

Доконало – кануло –
вырываю клочок.
Обживаю заново
сердца уголок.

Всё-то там по полочкам
разложу, чиня,
и судьбы иголочкам
не достать меня.

Не часто строки трогали
и так меня томили,
как чистые и строгие
стихи Ларисы Миллер.

Ни ярости, ни страстности
ей небом не давалось,
но в безмятежной праздности
душа отогревалась.

Не свойственно метаться ей.
О, не боец, не воин.
Как будто медитация:
«Спокоен я, спокоен...»

Уют настольной лампочки
и сладость спелой сливы...
Полёт шмеля и бабочки
следить неторопливо...

Мир лёгкий и пленительный
манил своею нишей.
Хотелось жить медлительней,
внимательнее, тише.

И будничная муторность,
и правда горькой мысли –
всё освещалось мудростью,
всё осенялось высью.

От слов лилось свечение.
Прохладой овевало.
Целительней лечения
для духа не бывало.

Не с Богом, не с иконой древнею,
не с тёмной мудростью талмуда –
я буду говорить с деревьями.
Лишь им я верю почему-то.

У каждого – своя история,
свой путь неведомый и дальний.
Мой лес – моя консерватория,
мой храм, моя исповедальня!

Днём одаряют лаской плюшевой,
ночами стражей окружают.
Кто так сочувственно нас слушает,
так безутешно утешает?

Я знаю – но оно во благо ли,
не в умноженье ли печали –
о чём сегодня ивы плакали,
дубы таинственно молчали.

Гляжу в Твои просветы синие,
и кажется, я знаю, знаю,

о чём трепещет лист осиновый,
куда нас манит даль лесная...

Я вижу всегда чуть больше того, что вижу.
Не только лишь вещь, но то, что за ней и в ней.
Наверное, потому и больше завишу
не только от дней – от призраков их, теней.

Что вам увидится толстой земною коркой –
то мне откроется кладом из-под земли.
Наверное, потому, что я дальнотворка
и ясно вижу лишь то, что уже вдали.

Любовь, что не разделена –
бесценнее всего.
Она сияет, как луна,
как всё и ничего.

Она растёт, как снежный ком,
нежна, обнажена,
и не нуждается ни в ком,
ей плата не нужна.

Не так, как у земных людей,
шаги ее тихи.
Она рождает не детей,
а песни и стихи.

Кому посвящён этот дождь? Снегопад?
Что пишет он в воздухе мокрого сада?
Как будто бы кто-то строчит невпопад,
стремясь достучаться до адресата.
А он и не слышит за стуком лопат.
Какая досада! Какая досада!

Мир дождливый за окном
сер, бессолнечен, неярк.
Но зато сейчас на нём
незаметен след помарок.

Неказистой серый цвет –
но удобнее гораздо.
Меж землей и небом нет
вопиющего контраста.

Серый цвет не так уж плох:
скромен и дипломатичен.
Он – спокойствия залог,
выдержан, аполитичен.

Всех всегда он примирял...
Но его не любят дети.
Он недаром в словарях –
знак бездумья и бесцветья.

Пусть на белом от машин
черный след кричаще ярок –
никогда живая жизнь
не бывает без помарок.

Я помню, как всю ночь рыдала маленькой,
когда читала «Оливера Твиста».
Как я потом мечтала встретить мальчика
с лицом чумазым, как у трубочиста,

оборванного, тощего, голодного,
и накормить досыта, до отвала.
Не друга мне хотелось, не животного,
а сироты из грязного подвала.

Как будто это свыше мне поручено,
впивалась в лица взглядом я пытливым:
о где же тот, обиженный, замученный,
которого я сделаю счастливым?

Потом читала Мухину-Петринскую,
и повторялась прежняя картина:
подкрадывалась к нищим не без риска я,
ища среди них заблудшую Христину.

Поднять с колен, обнять и – прямо в дом её,
пусть греется под отческою сенью...

Искала я в толпе глаза бездомные,
взыскующие моего спасенья.

И так и шла одна своей дорогою,
не слыша слов заветных «помоги мне»,
и чувствовала, как в душе нетронутой
кормилец невостребованный гибнет.

Иду я на твои огни болотные,
любовь моя, отравы и отрады.
О, где вы, благодарные, голодные?
Все сыты. Никому меня не надо.

Верю в Бога косвенно,
не впрямую.
То доверюсь Господу,
то – уму я.

Чей же это промысел –
генов? мага?
Что за тайна кроется
в дебрях мрака?

Сверху капля капнула –
это кто-то
обо мне заплакал там
с небосвода.

Где-то ветка хрустнула,
ветер дует, –
что-то, всё же, чувствую,
существует.

Если тяжело дышится,
слёзы душат –
слушай шёпот Высшего,
слушай душу.

Пусть твой ум не верует
в божью лажу,
но душа всё ведает
и подскажет.

А.Цоглину

Блажен, кто верит, им защитой – крест,
и ангелы хранят, и люди – братья.
А атеист во всём один, как перст,
и нет ему опоры и гарантий.

Уютно жить под сенью высших сил,
под сводами церквей, в тени часовен.
А еретик, что мир собой бесил,
и по сей день единый в поле воин.

Он – на прицеле, он открыт ветрам...
Вся паства – из недавних комсомольцев.
Ходить на партсобрания иль в храм –
без разницы для этих богомольцев.

Лишь только было б всё как у людей,
уж так оно заведено веками...
А кто не с нами – бес и лиходеи!
Но мир всегда был жив еретиками .

Люблю я глухие чащи –
не стриженные газоны,
где сердце стучит всё чаще,
всё дальше ума резоны.

Не сад за крутым забором,
не овощ манит на грядке,
а полчища дикой флоры,
где солнце играет в прятки.

Беседок, плющом увитых,
милее мне ветер в поле,
руины могил забытых,
где колет бурьян до боли.

Никогда ничьим не буду предком,
никому не передам я черт.
Я о том задумывалась редко –
отщепенка, щепка, интроверт.

Кто я, что я? Пропуск, опечатка,
из цепи пропавшее звено,
травка, не пробившая брусчатку,
в землю не упавшее зерно,

повесть с недописанной страницей,
песня с недопетою строкой.
Жизнь, что только мнится или снится,
как поэту снившийся покой...

Может быть, кого-нибудь разбудит
слово из рождённых мною книг.
Знаю, продолжения не будет.
Всё сейчас. Сегодня. В этот миг.

Куда мне отсюда бежать?
Страна выбирает урода.
И я не могу уважать
чудовищный выбор народа.

Народ, выбирающий гнёт,
всё то, что навеки обрыдло,
какой он народ? Это сброд,
покорное стадо и быдло.

Спаси нас от Сфинкса, Эдип!
О, наш Невезения остров!
Сон разума чудищ родит.
Россия приветствует монстров.

Одна лишь шестая, но пасть
пять прочих не смогут так сроду.
Ты – волчая стая, ты – пасть,
что слопала душу народа.

Ад для ангелов, рай для чертей –
вот чем стала земля наша нынче,
впрочем, вечно была для людей,
потерявших людское обличье.

Не найти, не купить нам билет
в те края, где бывает иначе,

где б не слышалось тысячи лет
смеха дьявола, ангела плача.

Старому Саратову

Всё банки, фирмы да ночные клубы.
Как обновился твой простой наряд!
Там, где теснились старые халупы –
парадные подъезды встали в ряд.

А мне другое видится упрямо:
не ладно скроен ты, да крепко сшит.
Там брат живой и молодая мама,
и мой отец навстречу мне спешит.

Излюбленное улочек безлюдье,
церквушек одиноких купола.
Аллеи Липок. Память о минуте,
где в первый раз я счастлива была.

Тебя ругают эмигранты-снобы,
глядящие в презрительный лорнет.
А я хочу к тебе пробиться снова,
расслышать «да» в чужом холодном «нет».

И я шепчу беззвучными губами,
но ты не слышишь нежности укор.
Ты – словно близкий, потерявший память,
не узнаёшь лицо моё в упор.

Мои ладони на твоих ресницах.
Ну, угадай сквозь толщу бытия!
Перелистай назад свои страницы!
Мне так страшна забывчивость твоя.

Но веет бесприютностью вокзала
от новостроек, стынущих в лесах,
и высятся безликие кварталы,
где вывески – как шоры на глазах.

И пусть тебя давно уж нет на свете, –
ушёл, как Китеж, прошлое тая,
но все равно я за тебя в ответе.
Пусть ты не мой, но я ещё твоя.

Пусть твой уход ухожен, неизбежен,
пусть разведут руками: се ля ви,
пусть станешь недоступен, зарубежен –
но ты со мною памятью любви.

На улицах, на кладбищах
твой взгляд оттолкнёт беда:
пустые ладони нищих,
протянутых в никуда.

Привычной пейзажа частью
давно уже став, бомжи
своё продают несчастье,
прося за него гроши.

Но, брезгуя их паршою,
спешим пройти стороной.
О, что случилось с душою?
Что сделалось со страной?

Не видно нам – кто там стонет.
Не слышно нам – чей там крик.
Протягивает в ладонях
пропащую жизнь старик.

Куда там, бегут, не глядя.
А, может быть, даже так:
– Почём твои слёзы, дядя?
Ну на вот, возьми пятак!

Жалость, состраданье, милосердье –
словно сон, забытый на заре.
Этих слов, запряганных в предсердье,
нету в повседневном словаре.

«Жалость унижает человека»?..
Став Москвой, не верящей слезам,
расколола нас жестокость века,
разведя по разным полюсам.

На одном – Гобсек с его доходом,
стол Рабле, Маркиз де Сад с плетьюми,

на другом – Сервантес с Дон Кихотом,
Достоевский с бедными людьми.

Анненского кукла и шарманка,
Рыжего ли Петя-дурачок...
И сочится вечно где-то ранка,
и грызёт незримый червячок.

Но во избежанье сытой смерти
никому той боли не отдам.
«Жалость, состраданье, милосердьё», –
тихо повторяю по складам.

*Полусны, кресты нагие...
Тяжелеет голова.
И какие-то другие
произносятся слова.*

И.Алексеев

Мир за больничною стеной
манил неутолённо.
Лежал безвыходно больной,
прозрачно-просветлённый.

Поддался жизни шифр немой,
его шептали звёзды.
Но как же поздно, боже мой,
непоправимо поздно.

Вся позолота, крутизна
уже с него слетела,
и поражала новизна
мальчишеского тела.

Ему открылось: есть Покой,
Высокое, Родное.
Но почему же лишь такой
жестокою ценою?

О, пусть бы лучше трахал баб,
гонял на мерседесе,
чем был, как нынче, тих и слаб,
в три раза сбавив в весе.

В бреду всплывали, как в кино,
черты забытых, милых...
Зачем теперь ему дано –
что взять уже не в силах?

И сквозь туманный негатив
со дна сердечной мути
вдруг проступал иной мотив
его глубинной сути.

Он знал теперь, что вкус иной
у счастья и у славы,
но, боже мой, какой ценой
купил он это право,

когда, как лезвие, строка –
по вздрагивавшей коже,
теперь, когда уже близка
расплата... Но за что же?!

И этих слов: «Но быть живым,
и только...», их свеченья
он ведал сокровенный смысл
буквального значенья.

Один талантливый поэт
ушёл неслышно, незаметно.
Другой – крича о муке смертной,
чтоб содрогнулся белый свет.

Не знаю, кто из них правей
и чей уход считать мудрее.
В ветвях невидим соловей,
а ястреб гордо в небе реет.

Один у мира на устах,
другого все давно забыли.
Милей – признание толпы ли
иль безымянность певчих птах?

Стучать в сердца, не пряча вой,
патронов не жалеть в обоямах?

Молчать, как высь над головой?
Не знаю я... Мне жаль обоих.

Поэты гибнут от непонимания,
от невнимания и от тщеты
усилий быть, тогда как графомания
воинственно нацелила щиты.

Играют механические клавиши,
но нет души, и пусто без неё.
А город без поэтов – это кладбище,
где вороньё кружит – графоманьё.

Их убажуют критики и спонсоры.
«Спой, светик, не стыдись». Но нет стыда.
Никто и никогда не даст им по носу.
Обидно за державу, господу.

На презентации в читальном зале
толпа миляг – окрестных журналюг –
писателю вопросы задавали,
от коих он нырнуть готов был в люк.

– Кто из издателей и режиссёров клюнул?
– Как пишете – в халате или без?
– А расскажите о конфликте с «С»,
как обозвали и как он в Вас плюнул?

Тактичности не тяготят вериги.
В уме нехитрый выстроен сюжет.
Кого сейчас интересуют книги?
Скандал. Интим. Перформанс. И фуршет.

Л.Москвичёвой

Спасибо, Люда, за искусно
тобою сшитый балахон.
Я в нём по комнатам и кухне
летаю, словно махаон.

Так эти крылышки порхают,
что птичьим кажутся пером,
и медленно жара стихает
под крепдешиновым шатром.

О ткани, купленные мамой
в те приснодавние года!
Такой прохладной, лёгкой самой
уж не отыщешь никогда.

И вспомнился мне вдруг некстати
тот день, на казусы богат,
когда девица – мой читатель, –
раскрыв страницу наугад,

(о, молодое поколение,
всё меряет на свой аршин!) –
спросила вдруг с недоумением:
«А что такое крепдешин?»

Не зная броду, лезу в воду,
воюю в поле в одиночку,
в молитве расшибаю лоб.
Не одолев свою природу,
с тетрадкой коротаю ночь,
в надежде полегчало чтоб.

Ловлю себя на добром слове.
В окно глядят ночные очи
и мандарины фонарей.
Что день грядущий мне готовит?
А утро не мудрее ночи,
а просто чуточку старей.

И по гроба, как по грибы,
теперь хожу все чаще...
О, что там зреет у судьбы
в непроходимой чаще?

В объятых милых или книг,
или стихи кропаем –

но каждый день и каждый миг
мы что-то погребаем.

Зияют ямы на пути,
пустоты и провалы
глухим предвестием в груди,
что всё, мол, миновало.

Но вот уж сколько зим и лет —
отпетый, забубённый —
маячит в зарослях скелет
любви непогребённой.

И ждет она сквозь все нельзя
у гробового входа —
когда настигнет, вознеся,
последняя свобода.

Я полюбила хризантемы,
ещё не зная, что они
зовутся — вновь на эту тему! —
цветами смерти в наши дни.

Как нежно ветер осыпает
недолговечную красу...
Всё чаще я их покупаю
и к датам траурным несу.

Влечёт цветочная палатка,
но лишь увижу — и пронзит:
недаром нас так манит сладко
всё, всё, что гибелью грозит.

Они по-прежнему мне милы,
но мысль не отпускает впредь:
цветы, цветы, я вас любила,
не зная, что люблю в вас смерть.

В тапочки ноги вдень —
сразу к балкону.
Здравствуй, мой новый день,
будем знакомы!

Льются из птичьих уст
песни-речёвки.
Как там внизу мой куст?
Тянет ручонки?

Комната наконец
солнцем прогрета.
Мамочка и отец
смотрят с портретов.

Прочь, что в кошмарном сне
в душу закралось!
Радость, вернись ко мне,
детская радость!

Звонок

Он звенел на весь свет. Было поздно пугаться.
Убегая, забилась тогда в туалет.
Тот звонок, что я дёрнула из хулиганства –
он всю жизнь мне из школьных аукался лет.

Посредине урока – звонок к перемене!
Детвора повскакала с насиженных мест.
Было ведомо разве одной Мельпомене,
чем был вызван мой дерзкий отчаянный жест.

«Тварь дрожащая я или право имею?»
Революция! Воля! Восстанье рабов!
Ликованье поступка, взмывание змея
под чечётку от страха стучащих зубов.

Мне грозила в учительской карами завуч.
Я молчала в ответ на директорский ор.
Но тогда уже зрело: не тихая заводь –
мой удел, а трагедия, буря, разор!

Сколько раз мне в минуту души грозовую
вновь хотелось скомандовать робости: «Пли!»
Я живая! Вы слышите? Я существую!
Но как ватой заложены уши земли.

Я звоню на весь свет, ожидая камней,
но призыв неуместен, смешон, одинок.

Слишком поздно. Уже не бывать перемене.
Школа жизни окончена. Скоро звонок.

Уроки труда и терпенья
опять прогуляла душа.
Ей хочется музыки, пенья,
лежанья в тени камыша,

вниманья к словесному гулу
в объятьях полночной звезды.
Прошу я у быта отгула
и отпуска у суеты.

Жизнь сходит на нет, истончаясь
в сраженьях бессмысленных дней,
пока мы однажды, отчаясь,
не вспомним случайно о Ней.

Рассыпались мудрые мысли
и лень их собрать в закрома.
Житейские доводы скисли
пред тем, что превыше ума.

И утро, глядевшее хмуро,
вдруг вспыхнет, свой сон сокруша.
Сияя улыбкой Амура,
душа моя, девочка, дура,
о как ты сейчас хороша!

От прикольных этих школьных вёсен
я теперь за тридевять земель...
Вызов на уроке был мне грозен,
словно это вызов на дуэль.

Не забыть мучения ученья...
Руки ввысь тянулись, оттесня.
Плечи вжав, вздыхала с облегченьем, —
слава богу, это не меня.

Всё ждала решительного срока,
обходила жизнь на вираже.

Наконец готова я к уроку!..
Но никто не вызовет уже.

В окруженье лишь деревьев,
прячась в книжку и тетрадь,
я училась слушать время,
время жить и умирать.

Было сладко, было горько,
но хотелось всё испить.
Отщепенка и изгойка,
обреченная любить.

Ангел мне играл на флейте:
«Время – самый лучший врач».
Жизнь прекрасна – хоть убейте.
Я так счастлива – хоть плачь!

Мы достались друг другу с бою
и обоим до дна видны.
Не бывает любви без боли,
без печали и без вины.

Я боюсь, что уйдёшь, как Китеж,
и в горячем шепчу бреду:
обещай же, что ты не сгинешь,
не оставишь меня в аду!

День вдвоём – не бывать бездонней! –
и, хоть не был на радость скуп,
снова волосы ждут ладоней,
снова губы взыскуют губ.

Жизнь проходит за вехой веха,
отливается мной в стихи.
Мы с тобою уж четверть века
без какой-то там чепухи.

Но, как высшее завещанье,
пронесем через все года:
целоваться – как на прощанье,
обниматься – как навсегда.

Мы не поедem с тобой никуда –
ни в Ленинград, ни в Израиль.
Здесь наше счастье, сказавшее да,
что мы у горя украли.

Мир чужестранен, безроден и пуст
безо всего, что знакомо.
Здесь мой любимый взлелеянный куст,
тянущий руки к балкону.

Теплых могил обжитая среда.
Быт наш, беспечен и беден...
Мы не уедem с тобой никуда.
Мы никуда не уедem.

Лелею в памяти, лелею
и греюсь, нежась и кружась.
Тобой по-прежнему боля,
лелею в мыслях ту аллею,
где шли мы, за руки держась.

Как будто бы в преддверье рая
глаза ласкает синева.
Лелею, холю, обмираю,
как бусинки, перебираю
твои бесценные слова.

Украшу губы поцелуем,
в ушах – два шёпота ночных...
Да, вот такую, пожилую,
любить захлѐб, напропалую...
Как терпят нас в мирах иных,

завистливо взирая сверху
на жаром пышущий очаг,
который и за четверть века
не остудил еще ночлега,
не оскудел и не зачах!

Вот так бы и в минуту злую,
когда покинет бог огня,

судьбе пропевши аллилуйю,
поставить точку поцелуя
в конце угаснувшего дня.

Раны зарубцованы, зашиты.
Трещины срастаются веков.
Ты – моя великая Защита
от вселенских чёрных сквозняков.

Как же я давно тебя искала
и в упор не видела лица,
разбиваясь, как волна о скалы,
о чужие твёрдые сердца.

Ты моя отрада и забота.
Жизнь, как мячик, кину – на, лови!
С легкостью отдам души свободу
я за плен пленительный любви.

И с годами все неугасимей
свет из-под состарившихся век.
Этот бесконечный стих во Имя
я не допишу тебе вовек.

Пусть лопнет жизни трепетный бутон,
но аромат прольётся в мир бескрайний, –
весь смысл цветка, живущего потом
в медвяном ветре утреннею ранью.

Мне видятся дубовые леса,
что дремлют в желудевой оболочке,
грядущих поколений голоса,
поэтов ненаписанные строчки.

На цыпочках к ним, будущим, тянусь
в замкнутом, как наручниками, круге,
сквозь боль и страх, бессилие и грусть,
через века протягивая руки.